

Я пил газированную воду. А шагах в трех от меня стоял мальчишка и облизывал со всех сторон брикет мороженого. Сплошное легкомыслие! Когда он тратил деньги на мороженое, он не думал, что захочет пить. Теперь он хотел пить и потому смотрел на меня и старательно работал языком.

Я показал ему стакан и кивнул головой. Он не поверил, а может быть, не понял, но на всякий случай положил в рот остаток брикета.

— Хочешь пить? — спросил я.

Он кивнул головой.

— Два стакана выпьешь?

Он снова кивнул.

— А три?

— Что вы, дяденька, куда мне три. Три не выпью. Мне, тётенька, с вишневым, — сказал он, потому что продавщица уже наливала в стакан апельсиновый сироп.

— Выпьешь с апельсиновым. Ничего с тобой не случится, — сказала она.

— Конечно. Выпей с апельсиновым, а закусишь вишневым, — посоветовал я.

Добрый поступок облагораживает человечество: люди вокруг улыбались, и никто не лез без очереди. Мальчишка пил и поверх стакана смотрел на меня. Под мышкой у него были зажаты удочки, а на согнутой руке висел кукан с пегими бычками.

Газированную воду и меня мальчишка не забудет, по себе знаю. Он обязательно вспомнит эти два стакана, когда вернется памятью к своему детству. Все возвращаются. Я не удержался и провел рукой по его голой спине и ощутил ладонью тонкие косточки позвоночника.

Я неторопливо пошел по набережной. Удивительно просто сделать человека счастливым, и всего за восемь копеек. Сделать счастливым меня уже никто не мог ни за какие деньги. Печальная разница между мной и мальчишкой.

Открывая эту истину, я успевал смотреть на гавань, тесно заставленную судами, и слушать предвечерний гул набережной.

Я жил в этом большом портовом городе уже неделю. Что я в нем делал? Открывал истины. А привело меня в этот город редакционное задание на тему «Цемент — хлеб строителей» и желание убежать от сочувствия друзей.

Даже в трамвае люди торопятся занять места. А я искал свое место в жизни. Странное занятие для человека, которому давно за сорок. Но что поделаешь, если одно место уже потерял при историческом переходе от войны к миру. Незадолго до войны меня убедили, что я нужен армии и должен избрать военную профессию пожизненно. Она бы и была пожизненной. Но на войне меня не убили. А после войны офицеров осталось больше, чем нужно было армии в мирное время. Мне предложили выбирать новую пожизненную профессию по моему усмотрению. С точки зрения отдельной личности со мной поступили несправедливо. Но что значит отдельная личность по сравнению с интересами государства? Я написал два рассказа. Моим героям было хорошо: выбитые из седла на крутых поворотах истории, они с моей помощью легко становились на ноги. Мне от этого не было легче. Я вел себя как человек, у которого есть что сказать, но для этого еще не настало время. Так тоже жили. Но жить так я передумал.

В детстве мне пророчили блестящее будущее. Будущее давно стало прошлым, а как это произошло — я не заметил.

Со стороны я до сих пор производю впечатление вполне благополучного человека, очень уверенного в себе и спокойного. Таким я видел себя со стороны даже теперь, на набережной. Во всяком случае, на меня не без интереса поглядывали женщины, а у мужчин я вызывал легкое раздражение. По набережной кружили иностранные моряки. Они выделялись в толпе не только формой, но и какой-то обособленностью.

Навстречу мне шли два дружинника. Дружинников было много: они стояли и прогуливались по набережной. Парни как парни. Я видел таких на заводах и на пляже, в городском парке и в ресторанах. Но красные повязки как-то неуловимо их изменили. Сразу было видно: парни несут гражданскую службу при красных повязках.

В свое время я очень любил нагрудные значки. Я носил «ГТО» и «Ворошиловский стрелок», «ГСО» и «МОПР». Чтобы получить каждый из них, приходилось сдавать определенные нормативы. Значки вручали торжественно на вечерах и собраниях. Мне особенно нравился «Ворошиловский стрелок» потому что этот значок был похож на орден. Все мои рубашки были с дырками от значков. Значки подымали меня в собственных глазах. Я и значки — были неотделимы, я сливался с ними.

У парапета, напротив входа в ресторан, стоял матрос-негр. Он был в белом берете с синим помпоном. Когда мимо негра проходили дружинники, он

вытягивался, прикладывал к голове руку и хохотал. Как у всех негров, у него были ослепительно белые зубы.

Кто-то тронул меня за руку. Вполоборота ко мне стояла девушка и не глядя сказала:

— Проведите меня в ресторан.

— Вы ко мне?

— К вам...

Теперь она смотрела на меня и чуть-чуть улыбалась.

— «Оставь меня в моей дали. Я неизменен. Я невинен», — сказал я. Не думаю, чтобы девушка знала Блока.

— Не беспокойтесь, — сказала она. — Приставать к вам не буду. Меня одну не пускают в ресторан, а я хочу есть. Вы меня только проведите. Я даже с вами не сяду.

— Благодарю, — сказал я. — Идемте.

Мы прошли мимо двух дружинников — они стояли перед входом в ресторан. В дверях девушка оглянулась и кому-то помахала рукой.

Она сдержала свое слово. За столиком я сидел один. Вслед за нами в зал вошел негр, и девушка ушла с ним. Они сидели в углу. Негр хохотал. Кивал мне головой, хохотал и потрясал сложенными ладонями. Девушка тоже смотрела на меня очень ясными, очень красивыми и очень наглыми глазами. А может быть, так казалось мне от обиды, и глаза ее не были наглыми, а были просто смелыми.

Зал с низким потолком, пестро разрисованными стенами был похож на кабачок. Но на низких, полуподвальных окнах висели тюлевые занавески, поблескивала огромная репродукция картины Айвазовского «Девятый вал». Зал наполнял гул разноязычной речи и табачный дым. Я помнил кабачок «Новые песни» с хозяином-нэпманом за стойкой, с девчонками, которые смело садились на колени рыбаков и матросов. По требованию комсомольцев города кабачок закрыли, а девчонок собрали со всех портовых городов и вывезли на далекие стройки. Я был политруком вагона. Девчонок везли в теплушках, и, когда я поднялся к ним в вагон, они поносили меня последними словами, из которых слово «кастрат» было самым мягким. А я подсаживался к ним на нары, говорил, какие они все красивые и как прекрасна жизнь, которая их ждет впереди. Мне было тогда восемнадцать лет, и это было моим первым серьезным комсомольским поручением.

К моему столику подошел мужчина. Под измятым и непомерно широким пиджаком застиранная тельняшка обнажала костлявые ключицы. Он сел, увидел на столе сигареты и взял одну. Он еще шел между столиками, окидывая посетителей зорким, оценивающим взглядом, а я уже знал, что он выберет мой столик. Не потому, что я сидел один, а по той же причине, по которой ко мне обратилась девушка. И прежде чем он сказал:

— Можете угостить. Штурман дальнего плавания... В прошлом, конечно, — я уже смирился с тем, что мне предстоит весь вечер слушать длинную морскую «бодягу».

Я смотрел на него и улыбался. Он держал в руке сигарету и спички и тоже смотрел. Он презирал меня, мою благополучную внешность и даже не пытался этого скрывать.

— Жметесь? Еще заработаете, — сказал он.

— Подсчитываю, сколько могу истратить.

Он неторопливо закурил. Потом сказал:

— Ерунда. Всего двести грамм. Последнее время быстро пьянею.

Мне не пришлось звать официантку: она уже стояла возле столика и смотрела на штурмана. Мне показалось, что он нарочито не замечает ее.

— Еще двести грамм, — сказал я.

— Больше ста грамм ему не давайте.

Официантка ушла, а штурман сказал:

— Отвергнутая любовь... Не может простить.

Мои опасения оказались напрасными: он не собирался мне ничего рассказывать. Он сидел сосредоточенный и молчаливый. На подмостках играл оркестр. Сильно накрашенная женщина выдувала из саксофона стонущие звуки, и от напряжения на ее изможденной шее вздувались жилы. Вернулась официантка: кроме заказанной водки она принесла натуральную селедку и сама налила штурману рюмку.

— У нас есть крабы, — сказал я.

— Ничего, не беспокойтесь: селедка в счет не поставлена.

Официантка была полной и уже немолодой. Страдала плоскостопием и выглядела очень домашней. Пока она не ушла, штурман сидел сосредоточенный и молчаливый. Пил он медленно, верхняя губа приподнялась, обнажая зубы. У него была маленькая подвижная голова и морщинистая, как у черепахи, шея. Морщинистая — больше от худобы, чем от возраста. Он поставил наполовину выпитую рюмку и тотчас ее долил.

— В Таганроге ужасно трудная якорная стоянка, — сказал он и, прежде чем поднять рюмку, долго на нее смотрел. Я понял — он пьян. Он был пьян еще прежде, чем сел за мой стол. В голове у него возникали какие-то обрывки воспоминаний, но он не мог связать их в единое целое.

Между столиками танцевал негр с девушкой. Она лицом касалась его груди, а высоко поднятые руки лежали у него на плечах. Когда они поворачивались, лицо девушки видно было из-за его широкой спины.

— Ненавижу расистов, — штурман скрипнул зубами. — В Гаване меня любила чернокожая женщина.

Его услышала девушка и чуть-чуть улыбнулась.

— Хватит, старик. Не надо, — сказал я.

Он отдернул от графина руку, но тут же крепко обхватил пальцами горлышко.

— Что делать? Года идут, а счастья нет.

Он смотрел совершенно осмысленными и трезвыми глазами. Встал и пошел по проходу, не простившись и не взглянув на меня. Я для него больше не существовал. Напрасно. Я хотел крикнуть: все люди — братья. Но в дверях появились двое дружинников, и я не крикнул.

В ресторане было полно иностранных моряков. Негр и девушка танцевали неподалеку от моего столика. Моряки громко перебрасывались словами. Какими — я не знал, но догадывался.

Не знаю, как выглядят люди, совершая великие открытия. Говорят, Архимед открыл свой закон в ванне. А я сидел под картиной Айвазовского, небрежно облокотясь на спинку стула. Между тем я открыл истину: чем меньше неудачников, тем благополучнее государство. Вся моя жизнь была сплошной заботой о благе государства. Я просто не мог себе позволить быть неудачником. Оставался пустяк: понять природу противоречия между моим прошлым и настоящим.

Девушка лениво передвигала ноги. Ее щека лежала у негра на груди. Девушка смотрела в мою сторону. Убежден, что ее глаза меня не видели. Я сидел под бушующим морем, небрежно облокотясь на спинку стула, и, наверное, как всегда, выглядел очень спокойным и очень благополучным!

*Рассказ предоставлен Виктором Есиновым*